

Николай Лесков

Совместители



Николай Семёнович Лесков

Совместители

Серия «Рассказы кстати», книга 1

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174935*

Аннотация

«Совместительство у нас есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу как будто ничему не мешает, оно все-таки составляет зло, – говорил некоторый знатный и правдивый человек и при этом рассказал следующий, по моему мнению, небезынтересный анекдотический случай из старого времени. – Дело идет о бывшем министре финансов, известном графе Канкрине. Я записал этот рассказ под свежим впечатлением, прямо со слов рассказчика, и так его здесь и передам, почти теми же словами, как слышал...»

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	11
Глава третья	20
Глава четвертая	29
Глава пятая	33
Глава шестая	37
Глава седьмая	40
Глава восьмая	43
Глава девятая	45
Глава десятая	48
Глава одиннадцатая	50
Глава двенадцатая	53
Глава тринадцатая	58
Глава четырнадцатая	62

Николай Лесков

Совместители

Буколическая повесть

на исторической канве

Род сей ничем же изимается.

Совместительство у нас есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу как будто ничему не мешает, оно все-таки составляет зло, – говорил некоторый знатный и правдивый человек и при этом рассказал следующий, по моему мнению, небезынтересный анекдотический случай из старого времени. – Дело идет о бывшем министре финансов, известном графе Канкрине. Я записал этот рассказ под свежим впечатлением, прямо со слов рассказчика, и так его здесь и передам, почти теми же словами, как слышал.

Глава первая

Граф Канкрин был деловит и умен, но любил поволочиться. Тогда было, впрочем, такое время, что все волочились. Даже впоследствии это перешло как бы в предание по финансовому ведомству, и покойный Вронченко тоже был превеликий ухаживатель: только в этом игры и любезности той не было, как в Канкрине¹. Такое господствовало настроение: жизнь играла у гробового входа.

И те, кому волокитство уже ни на что не нужно было, и они все-таки старались не отставать от сверстников.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличия, все имели дам на попечении. В самой большой моде были танцорки или цыганки, но иногда и другие особы соответственного значения. И притом никто почти не скрывал свои грешки, а нередко даже желали их огласки. Это давало случай в обществе подшучивать над «старыми грешниками». О них рассказывали разные смешные анекдоты, а это делало

¹ Граф Егор Францович Канкрин род. 1774 г., состоял генерал-интендантом в 1812 г., а с 1823 года министром финансов. Умер в 1846 г. Был отличный финансист и известен также как писатель; писал на немецком языке. (Прим. Лескова.).

грешникам известность и рекомендовало их как добрых и забавных вье-гарсонов.

Случалось, что имя грешника вспоминалось с какою-нибудь веселою шуткою при таких лицах, что это воспомянутому было полезно, и этим дорожили и умели обращать себе в выгоду.

Были даже такие старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смешные любовные историйки и доходили в этом до замечательной виртуозности. Позднейшие критики, не знавшие хорошо действительности прошлой жизни, приписали нигилистической поре стремление «пить втроем утренний чай»; но это несправедливо. Все это было известно гораздо раньше появления нигилистов и производилось гораздо крупнее, но только тогда на это был другой взгляд, и «чай втроем» не получал тенденциозных толкований.

А что старички в то время очень, очень шалили и что грешки их забавляли общество – это вы можете видеть по театральному репертуару. Тогда нередко так с кого-нибудь прямиком и писали пьесы. Например, «Новички в любви», или «Его превосходительство, или Средство нравиться» – это все с натуры. Теперь всех этих пьес уже и названий не припомнишь, а тогда, бывало, выведенных лиц по именам в театре называли и смеялись. Многие актеры, особенно Мар-

тынов, бывало, нарочно гримировались и копировали на сцене того, в кого метили. Был даже один такой случай, что некто, имевший желание о себе напомнить, сам избрал для этого театр и сам приезжал к Мартынову с просьбою: «нельзя ли так представить, чтобы его лицо узнали». Мартынов над этим просителем подсмеялся: он ему не отказал, но что-то такое как-то прикрасил по-своему и чуть-чуть не повредил почтенному человеку. Впрочем, дело обошлось, и тот возобновил себя у кого желал в памяти и получил солидную должность.

В министерстве финансов тогда собралась компания очень больших волокит, и сам министр считался в этой компании не последним. Любовных грешков у графа Канкрин, как у очень умного человека, с очень живою фантазией, было много, но к той поре, когда подошел комический случай, о котором теперь наступает рассказ, граф уже был в упадке телесных сил и не совсем охотно, а более для одного приличия вел знакомство с некоторой барынькой полуинтендантского происхождения.

Среди интендантов граф Канкрин был очень известен по его прежней службе, а может быть и по его прежней старательности в ухаживаниях за смазливymi дамочками, или, как он их называл, «жолы-мордочками». Это совсем не то, что Тургенев называет в сво-

их письмах *мордемондии*. «Мордемондии» – это начитанная противность, а «жоли-мордочки» – это была прелесть.

Притом, я не знаю, как это кажется вам, а я в этом названии слышу что-то веселое, молодое и беззаботное, и в слове «жоли-мордочка» не вижу ничего ни грубого, ни обидного для прекрасного пола.

В оное былое время, когда граф интендантствовал, «жоли-мордочки» его сильно занимали и немало ему стоили; но в ту пору, до которой доходит мой рассказ, он уже только «соблюдал приличия круга» и потому стал и расчетлив и ленив в оказательствах своего внимания даме.

А состоявшая в это время при нем «жоли-мордочка» была, как на трех, особа с некоторым образованием и очень живого характера: она требовала внимания, сердилась, капризничала, делала ему сцены и вообще хотела, чтобы он ею занимался и как-нибудь ее развлекал. Граф же был и стар и очень занят, да и по положению своему он не мог удовлетворять эти требования. А потому, поступая в духе времени, он очень желал, чтобы часть забот о развлечении молоденькой особы понес кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было в условиях этикета, чтобы совместитель был человек с тактом и не ронял значения гла-

венствующего лица или патрона.

Таким дамам позволяли появляться с их адъютантами, где можно, в общественных местах, и это никому не вредило, потому что от этого шел хороший говор: «Вот-де князь NN надувает графа ZZ». А совсем никакого надувательства ни с чьей стороны и не было – все было с общего согласия, но только через хорошего «атташе» больше прославлялось имя патрона. Старичок, бывало, заедет утром, чашку кофе или шоколада выпьет и уедет и денег пачку оставит, а после визита приезжает совместитель, и идет счастливое препровождение времени.

Но нынешняя «жоли-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни с кем не знакомилась и тем ужасно обременяла графа беспрерывными претензиями.

Он хотел отношений более удобных, а она скучала и совсем другое пела.

– Я, – говорит, – так, без участия сердца, жить не могу – я понимаю только одни серьезные отношения.

Граф ей несколько раз представлял, что ему невозможно сидеть у нее и оказывать «участие сердца», а она говорила:

– Нет, вы должны. Пойдем погуляем; я вам что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотела понять, что ему, как министру,

это неудобно. Он и озаботился помирить ее требования как-нибудь иначе и сделал в этом направлении очень находчивый и смелый шаг; но только с хлопотами его вышел пресмешной казус.

Глава вторая

Граф жил летом в Лесном, который тогда считался очень хорошим дачным местом. Канкрин сам ведь и положил начало здешнему заселению и всегда Лесному покровительствовал.

Оттого, может быть, здесь и после долго жили директора из министерства финансов, но только это уж не то. Славы Лесного они не поддержали – она пала невозвратно. Даму свою Канкрин поместил от себя в сторонке, именно в Новой Деревне, где тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здешних дачах помещалось большинство нежных особ, имевших именитых попечителей. Дачи этих дам, бывало, заметны, и опытный глаз сейчас их узнавал по хорошим, густым занавескам и по тому, что из них чаще всего слышалось пение куплетов:

«В вас, конечно, нет дурного,
Только, – право не в упрек,
– Нет ли где-нибудь седого?»
– «Что-с?»»

а хор отвечает:

Водится грешок!

Водится грешок!

Весело, очень весело жилося! И куда только все это ушло и куда миновалось с усилением разночинца!..

Как пошли петь под бряцание: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная», – так игривый куплет из комнатного пения и вывелся.

«Всякой вещи свое время под солнцем» – даже и куплету.

Так пройдет и оперетка, с которою нынче напрасно борются.

Все пройдет когда-нибудь в свое время.

Канкрин посещал свою пустыньницу всегда верхом и всегда без провожатого; но серьезный служебный недосуг мешал ему делать эти посещения так часто, как желала его неудобная, по серьезности своих требований, «жоли-мордочка». И выходило у них худо: та скучала и капризничала, а он, будучи обременен государственными вопросами и литературой, никак не мог угодить ей. Сцены она умела делать такие, что граф даже стал бояться один к ней ездить.

Рядом же с дачей графа Канкрина в Лесном в это лето поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень в свое время красивый гвардейский кавалерист П. Н. К—шин. Он был из дворян нашей

Орловской губернии, и я знал его отца и весь род этих К—шиных: все были преумны и прекрасивы, этакие бравые, рослые, черноглазые, – просто молодцы.

Этот интересный сосед графа, несмотря на свои молодые годы и на военное звание, с представлением о котором у нас соединяется понятие о склонности к развеселому житью, вел жизнь самую уединенную – он все домоседничал и читал книги или играл на скрипке.

Игра на скрипке и обратила на него внимание графа, который тоже был музыкант, и притом очень неплохой музыкант. Граф играл на скрипке в темной комнате, примыкавшей к его кабинету, который был тоже полутемен, потому что окна его были заслонены деревьями и кроме того заставлены рамками, на которых была натянута темно-зеленая марли.

Офицер заиграет, а граф положит перо и слушает и, заинтересовавшись им, спрашивает один раз у своего латыша-камердинера:

– Кто это, братец, возле нас так хорошо играет?

Тот отвечает:

– Офицер какой-то, ваше сиятельство.

– Да кто же он такой – он какого полка?

Камердинер говорит:

– Я не знаю.

– Ну так я тебе приказываю: разузнай и доложи мне.

Камердинер все разузнал и вечером, когда стал раздевать графа, докладывает ему, что сосед их – молодой одинокий офицер самого щегольского кавалерийского полка, человек очень достаточный, а живет скромно. Графу это понравилось. Молодой человек и военный, если он все сидит дома да читает, то непременно, должно быть, он человек интересный и нравственный. Ветреник или гуляка не выдержал бы, он бы все бегал да на глазах мотался. У графа что-то на сон грядущий и замелькало в мечтах, а утром, только что граф просыпается, – офицер уже на самой тонкой струне выводит какую-то самую забористую паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой он досужий, этот офицерик!» – подумал граф, и ему захотелось посмотреть на соседа. А тот как раз подошел и стал со скрипкою у окна.

Камердинер говорит:

– Извольте, ваше сиятельство, смотреть: господин офицерик весь теперь в виду вашем.

Граф взглянул и отвечает камердинеру:

– Ты, братец, дурак. Разве это «офицерик»? Это целый офицер, да еще, пожалуй, даже офицерище!

И графу захотелось с этим соседом познакомиться.

На следующий же день, когда молодой офицер возвращался с купанья и проходил мимо ограды сада графа Канкрина, тот стоял у своей решетки и загово-

рил с ним.

– Извините меня, поручик, – это вы так хорошо играете на скрипке?

– Да, я играю, ваше сиятельство. Не смею думать, чтобы я играл хорошо, но прошу у вас извинения, если беспокою вас моею игрою. Я, впрочем, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

– О нет, нет, нисколько. Сделайте милость, играйте! Я сам играю и прошу вас покорно – познакомимтесь. И у жены моей тоже собираются Klimperei². Приходите ко мне запросто, по-соседски, и мы с вами вместе поиграем.

Молодой человек поклонился, а граф указал часы, когда его удобно посещать запросто, «по-соседски», и они расстались.

Кавалерист поблагодарил графа и очень умно воспользовался его приглашением. Он пришел к графу не очень скоро и не чересчур долго, а как того требовали вежливость и уважение к лицу Канкрина, человека действительно замечательного – и по уму, и по деятельности, и по таланту.

В два визита молодой, умный поручик чрезвычайно расположил к себе министра. Граф с удовольствием любовался прекрасным молодым человеком и втайне возымел на него свой план. Офицер ему казался как

² Здесь: побренчать (нем.).

раз таким человеком, с которым он мог завоевать себе – если не область мира, то некоторую долю всеобщего желательного покоя. Короче и проще говоря, граф был уверен, что его беспокойная дама с серьезными взглядами и требованиями непременно этим молодым человеком заинтересуется. Стоит лишь их познакомить – и они станут вместе читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будет отдых. И вот, когда офицер еще раз навестил Канкринина, министр и сказал ему:

– Ах, поручик, какой сегодня хороший день. Мне совсем не хочется сидеть дома и читать мои скучные бумаги. Я бы с большим удовольствием проехался верхом, а от вас зависит сделать мне эту прогулку еще приятнее.

Тот говорит:

– Я к вашим услугам, – но только спрашивает, каким образом он может увеличить это удовольствие.

– А вот, – отвечает граф, – прикажите-ка, чтобы вам оседлали вашу лошадь да привели ее сюда, и поедете вместе.

Офицер с удовольствием согласился. Приказание было немедленно отдано и исполнено: верховые лошади подведены к крыльцу, и граф с молодым человеком сели и поехали.

День был действительно прекрасный, располагаю-

щий человека хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкрин был в своем обыкновенном, длиннополом военном сюртуке с красным воротником, в больших темных очках с боковыми зелеными стеклами и в галошах, которые он носил во всякую погоду и часто не снимал их даже в комнате. На голове граф имел военную фуражку с большим козырьком, который отенял все его лицо. Он вообще одевался чужаком и, несмотря на тогдашнюю строгость в отношении военной формы, позволял себе очень большие отступления и льготы. Государь этого как бы не замечал, а прочие и не смели замечать.

Всадники ехали довольно долго молча, но, несмотря на это молчание, видно было, что граф чувствует себя очень в духе. Он не раз улыбался и весело поглядывал на своего спутника, а потом, у одного поворота вправо к тогдашней опушке леса, остановил лошадь и сказал:

– А знаете ли что, поручик: не заедем ли мы с вами к одной прехорошенькой дамочке.

Молодой человек немного сконфузился от этой неожиданности и проговорил, что он не знает – ловко ли это будет с его стороны приехать незванным в незнакомый дом.

– О, не беспокойтесь, – отвечал граф. – Вы уже во

всем в этом положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда вас приглашаю. Это, я вам скажу, премилая молодая особа, и держит себя совсем без глупых церемоний. Мы с нею давно друзья и вы, я уверен, непременно захотите с нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своим семейным обстоятельствам она живет совершенно одна – монастыркой и очень часто скучает. Это ее единственный, можно сказать, недостаток. Мы приедем очень кстати, и вы увидите, как она мило нам обрадуется и встретит нас а bras-ouverts ³.

– В таком случае я в вашем распоряжении, – отвечал офицер.

– Ну вот и прекрасно! – воскликнул граф. – А эта милая дама и живет отсюда очень недалеко – в Новой Деревне, и дача ее как раз с этой стороны. Мы поедем к ее домику так, что нас решительно никто и не заметит. И она будет удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навещал, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вот мы и явимся ее веселить. Теперь пустим коней рысью и через четверть часа будем уже пить шоколад, сваренный самими бесподобными ручками.

Офицер молча поклонился.

– Да, да, – продолжал Канкрин. – Вы не думайте, что

³ с распростертыми объятиями (франц.).

это одни слова. Таких других ручек не скоро отыщете. Лавальер дорого дала бы, чтобы иметь такие ручки, потому что их-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни в чем нет недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчас будем там.

Поводья даны, и путники приехали так скоро, как обещал Канкрин. И другое его соображение тоже оказалось верно: при приближении их к дачке, обитаемой прелестною дамою, их действительно никто не заметил. На маленьком дворике была тишина – только чьи-то пестренькие цесарские куры похаживали и делали свойственные им фальшивые движения головами из стороны в сторону – точно они на кого-то кивали. Разрисованные сторы с пастушками и деревьями были опущены донизу, и из-за одной из них выглядывала морда сытого рыжего кота, но сама милая пустынница была нигде не заметна и не спешила а bras-ouverts навстречу графу.

Глава третья

Через минуту приезд гостей был, однако, замечен и произвел смятение в маленьком домике. Владетельная обитательница дачи не показалась, а ее служанка взглянула в окно и тотчас же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсем скоро, и вышедшая навстречу гостям девушка заговорила второпях, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтоб было тихо, и сама заснула.

Граф спросил:

– Чем Марья Степановна нездорова?

– Зубки у них болят – всю ночь не спали.

– А-а, зубки! Надо заговорить ее зубки.

Канкрин входил в комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутник следовал молодой, легкой поступью за ним.

Горничная еще больше обеспокоилась и стала говорить:

– Осмелюсь доложить... Они сейчас выйдут, я им уже сказала, что вы пожаловали, и они одевают распашонку.

Образование тогда еще было распределено так неровно, что многие горничные не употребляли иностранное слово «пеньюар», а называли по-русски

«распашонка».

– Ну, так мы подождем, пока она оденется, – отвечал граф и не пошел далее, а спокойно сел на широком оттомане и пригласил сесть офицера: – Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, – я вас уверяю, что мы будем хорошо приняты.

Он понизил голос и, наклонясь к уху собеседника, добавил:

– Она немножко с душком – как и все хорошенькие женщины, – но это ровно ничего не значит: миленьким женщинам все простить можно. Притом же надо иметь снисхождение к ее положению. Как хотите, а оно немножко неправильно и уязвляет ее самолюбие. Конечно, она ни в чем не нуждается, но это все не то, что она намечала в своих мечтаниях. Она дочь почтенного человека и образована, притом мечтательна. Она прекрасно умеет рассказать свою историю и, верно, когда-нибудь вам ее расскажет. О, она преинтересная и любит «участие сердца».

И граф сообщил кое-что о странностях живого и смелого характера Марьи Степановны. Она жила в фаворе и на свободе у отца, потом в имении у бабушки, отчаянно ездит верхом, как наездница, стреляет с седла и прекрасно играет на бильярде. В ней есть немножко дикарки. Петербург ей в тягость, особенно как она здесь лишена живого сообщества равных ей

людей – и ужасно скучает.

– Но вы понимаете, – продолжал граф, – что, после утомления однообразием характеров наших светских «кавалер-дам», этакое живое существо – оно, черт возьми, шевелит, оно волнует и встряхивает свою кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Граф устал говорить, тем более что спутник его ничего ему не возражал, а только молча с ним соглашался и обводил глазами квартиру прелестной дамы в фальшивом положении. Как большинство всех дачных построек, это был животрепещущий домик с дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевою краскою.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить в употребление в городских домах, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки их расписывали цветами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правде сказать, выходило недурно.

Убранство комнат было не бедное, но и не богатое, но какое-то особенное, как бы, например, походное или вообще полковое; точно как будто здесь жила не молоденькая красивая женщина, а, например, эскадронный командир, у которого лихость и отвага соеди-

нялись с некоторым вкусом и любовью к изящному. Неплохие ковры, неплохие занавесы, диваны, фортепиано и цитра, но больше всего ковров. Все, где только можно повесить ковер, там покрыто и занавешено коврами. Огромный же персидский ковер закрывает от потолка до полу и всю дверь в спальню, где теперь за перегородкой одевается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха ни духа.

– Однако долго она что-то надевает свою распашонку! – заметил граф и громко позвал по-русски:

– Марья Степановна!

Очень приятный грудной контральт отозвался из-за стенки:

– Сейчас.

– А когда же вы кончите свои Klimperei? мы уже устали вас ждать.

– Тем лучше.

– Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду так дерзок, что пойду к вам.

– Вы этого не смеете. Впрочем, я сейчас, сейчас выйду.

– Все пукольки, пукольки, – пошутил граф.

Офицер приподнялся с дивана и начал рассматривать приставленную в углу комнаты доску, на которой был наклеен белый картон с расчерченными на нем кругами и со многими следами попавших сюда пуль.

– Это вот наша Диана изволит стрелять, – сказал граф.

– Довольно меткие выстрелы.

– Да, но ведь это не дозволено в жилом месте, и я уже из-за нее имел по этому поводу объяснения... Но, однако...

Граф сделал нетерпеливое движение и добавил:

– Этот прекрасный стрелок нынче так долго медлит, что я позволю себе сделать атаку.

И граф только что приподнялся с дивана, чтобы постучать в двери, как завешивавший дверь ковер отодвинулся, и в его полутемном отвороте появилась красивая Марья Степановна. Она в самом деле была очень хороша – хотя немножко полновата. Рост у нее был небольшой, но хороший, и притом удивительное античное телосложение, а лицо несколько смугловатое, с замечательным тонким очертанием, напоминающим новогреческий тип. Это прелестное лицо очень знали в Петербурге, и Марья Степановна впоследствии еще покрушила много сердец и голов, так как с этого случая, о котором я теперь рассказываю, только началась ее настоящая карьера. Впоследствии из нее вышел такой на все руки боец и делец, через которого обделывались самые невозможные дела. Но мы, однако, не будем предупреждать события.

Граф подал Марье Степановне руку, а другую ру-

кою поддержал ее за затылок под головку и поцеловал ее в лоб, который та подставила графу как истая леди.

Затем он представил хозяйке гостя, а тому сказал:

– Марья Степановна—мой друг: ее друзья – мои друзья, а врагов у нас с нею нет.

Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а в сторону графа отвечала:

– Что до меня, то это не так: у меня враги есть и впредь очень быть могут, но я их никогда не замечаю.

Между тем, хотя она держала себя и очень самоуверенно и смело, но в ее лице, фигуре и в довольно хороших, но несколько нервных движениях было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, так сказать, «с предусмотрением» на всякий возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стесняясь своей очень очевидной роли, – что непременно стала бы делать женщина менее сообразительная; но только ей все-таки было не по себе, и она прибегла к общеармейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причем впала в довольно заметную ошибку: девушка ее говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроптала на несносную мигрень.

Граф заметил ей это и рассмеялся, а она рассердилась и запальчиво ответила:

– Не все ли это равно.

– Ну, не совсем все равно.

– Совершенно равно: когда сильно болят зубы, тогда все болит. Не правда ли? – обратилась она к офицеру.

Тот согласился с шутливым поклоном.

– Вы очень милы, – отвечала она и снова обвела комнату взглядом, в котором читалось ее желание, чтобы визит посетителей сошел как можно короче. Когда же граф сказал ей, что они только выпьют у нее чашку шоколада и сейчас же уедут, то она просияла и, забыв роль больной, живо вышла из комнаты отдать приказания служанке, а граф в это время спросил своего спутника:

– Какова-с?

– Эта дама очень красива.

– Да, это лицо сотворено для художника – и она позировала перед Майковым. Приятный художник. Я его знал еще в двенадцатом году, когда он был офицером. Очень нежно пишет. Государь любит его кисть. У меня есть несколько головок Марьи Степановны, но тут у нее у самой есть с нее этюд, где видно больше, чем одна головка... Это ничего, что она полна. Майков был ею очарован. Говорят, будто он религиозен, – я этого не знаю, но он в беззастенчивом роде пишет прелестно. Вы видали его произведения в этом роде?

– Нет, – я о них только слышал.

– Ну, так вы сейчас это можете видеть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкрин почти втянул офицера за собою в спальню красавицы, где над газированным уборным столом висел довольно большой, драпированный бархатом, портрет Марьи Степановны. Портрет действительно был хорошо написан, известными нежными майковскими лассировками и с большою классическою открытостью, позволявшею любоваться и формами и живым и сочным колоритом прелестного женского тела. Картина была вполне мастерская и вполне достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но майковские лассировки были очень нежны, а офицер был от природы сильно близорук и, чтобы рассмотреть картину, должен был стать к ней очень близко. Канкрин его сам к этому и подвинул, подведя вплотную к пышно убранному кисеею туалетному столу.

Тут и случилось самое неожиданное происшествие: офицер не заметил, как он запутался шпорами или саблей в легкие оборки кисейной отделки туалетного стола, а когда он нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сделал другую, еще большую. Желая освободить себя из волн кисеи, он приподнял получехла и остолбенел: глазам его, как равно и глазам

графа, представились под столом две неизвестно кому принадлежащие ноги в мужских сапогах и две руки, которые обхватывали эти ноги, чтобы удержать их в их неестественном компакте.

Глава четвертая

Молодой офицер был преисполнен жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и в то же время ему разом хотелось смеяться, и было жаль и этой дамы, и графа, и того неизвестного счастлиливца, кому принадлежали обретенные ноги.

Но положение сделалось еще труднее, когда офицер оглянулся и увидал, что сама Марья Степановна успела возвратиться и стояла тут же, на пороге открытой двери.

«Вот, черт возьми, положение!» – подумал он, и в его голове вдруг промелькнуло, как такие вещи разыгрываются у людей той или другой нации и того или другого круга, но ведь это все здесь не годится... Ведь это Канкрин! Он должен быть умен везде, во всяком положении, и если в данном досадном и смешном случае Марье Степановне предстояла задача показать присутствие духа, более чем нужно на седле и с ружьем в руках, то и он должен явить собою пример благоразумия!

Между тем картина не могла оставаться немой, – и граф был, очевидно, того же самого мнения.

Видя всеобщее удручение немой сценою, граф, нимало не теряя своего спокойного самообладания,

нагнулся к задрапированному столу, из-под которого торчали ноги, и приветливо позвал:

– Милостивый государь!

Ответа не было.

– Молодой человек! – повторил граф.

Ноги слегка вздрогнули.

– Mon enfant ⁴, – обратился граф к Марье Степановне, – не можете ли вы мне сказать, как зовут этого странного молодого человека?

– Его зовут Иван Павлович, – отвечала покраснев, но с задором в голосе хозяйка ⁵.

– Прекрасная вещь, но как жаль, что он так застенчив! Зачем он от нас прячется?

– Так... просто застенчив...

– Что за причуды сидеть под столом!

– Он прекрасно вышивает и помогал мне вышивать сюрприз ко дню вашего рождения и... сконфузился.

– Сюрприз ко дню моего рождения...

Граф послал ей рукою по воздуху поцелуй и добавил:

– Merci, mon enfant ⁶, Иван Павлович, выходите: вам

⁴ Дитя мое (франц.).

⁵ Имена героя и героини я ставлю не настоящие и фамилии их не обозначаю. От этого изображение эпохи и нравов, надеюсь, ничего не теряет. (Прим. Лескова.).

⁶ Спасибо, дитя мое (франц.).

там совсем неловко вышивать.

Гость под столом фыркнул от смеха и самым беззаботным, веселым голосом отвечал:

– Действительно, ваше сиятельство, неудобно.

И с этим вдруг, как арлекин из балаганного люка, перед ними появился штатский молодец в сюртучке не первой свежести, но с веселыми голубыми глазами, пунцовым ртом и такими русыми кудрями, от которых, как от нагретой проволоки, теплом палило...

Канкрин подал ему с лежавшего на столе серебряного plateau ⁷ большую черепаховую гребенку и сказал:

– Поправьте вашу прическу.

– Это напрасно, ваше сиятельство.

– Нет, она у вас в беспорядке.

– Все равно, ваше сиятельство, их причесать нельзя.

– Отчего?

– Они у меня не ложатся.

– Как не ложатся!

– Никогда, ваше сиятельство, не ложатся.

– Слышите! – обратился граф к офицеру; тот улыбнулся.

– Ну, а если их – эти ваши волосы намочить водою?

– И тогда не ложатся.

⁷ подноса (франц.).

– Вот так натура! – подхватил граф и то же самое повторил, оборотясь к офицеру, а Марье Степановне сказал по-французски:

– А вы напрасно говорите, что он конфузлив.

– Он теперь оправился, потому что вы его обласкали.

– А-а, это очень быть может, – согласился граф и закончил:

– Ведите же нас, милая хозяйка, к вашему столу.

С этим он подал Марье Степановне руку и провел ее к столу, где всех их ожидал шоколад.

На Ивана Павловича действительно была сказана напраслина, будто он конфузлив; но тем не менее он все-таки не знал, куда деть глаза, и министр вступился в его положение и начал его расспрашивать.

Глава пятая

– Служите ли вы где-нибудь, молодой человек?

– Служу, ваше сиятельство.

– И что же: везет ли вам на службе?

– Не знаю, как вам об этом доложить.

– Ну какое вы, например, занимаете место?

– Канцелярский чиновник.

– Еще не высоко! А давно уже служите?

– Пять лет.

– Что же вас не подвигают?

– Протекции не имею, ваше сиятельство.

– Надо иметь не протекцию, а способности и доброе прилежание при добром поведении. Это гораздо надежнее.

– Никак нет, ваше сиятельство.

– Что значит ваше «никак нет»?

– Протекция гораздо надежней.

– Что за вздор вы говорите!

– Нет-с, это действительно так.

– Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать так стыдно.

– Отчего же, ваше сиятельство, стыдно, – я это беру с практики.

– С какой практики? Велика ли еще ваша практика!

Вы так молоды.

– Молод действительно, ваше сиятельство, но все так говорят, и я тоже по себе заключаю: я считаюсь и способным, и все старание прилагаю, и ни в чем предосудительном в поведении не замечен, в этом, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться может, потому что я ей уже три года известен...

– Ах, вы уже три года знакомы! – перебил граф. – Это раньше меня!

– Несколько менее, – заметила Марья Степановна.

– Да, действительно менее, – подхватил Иван Павлович.

– Он, однако, вовсе не застенчив, – шепнул ей на ухо граф.

– Вы его обласкали.

– Правда ваша, правда.

– А кто это, молодой человек, ваш главный начальник, при котором так мало значат труды и способности, а все зависит от протекции?

– Прошу прощения у вашего сиятельства: этот вопрос меня затрудняет.

– Не стесняйтесь! Мы здесь встретились просто у общей знакомой – милой и доброй дамы и можем говорить откровенно. Кто ваш главный начальник?

– Вы, ваше сиятельство.

– Как я!

– Точно так, ваше сиятельство: я служу в министерстве финансов.

– Ну, послушайте, – обратился граф по-французски к Марье Степановне, – он совершенно не застенчив.

Та сделала нетерпеливое движение.

– Отчего же я вас, Иван Павлович, никогда не видал? – спросил граф.

– Нет, вы изволили меня видеть, только не заметили. Я во все праздники являюсь и расписываюсь на канцелярском листе раньше многих.

– Да как же, наконец, ваша фамилия?

– Я называюсь N—ов.

– N—ов, – так я произношу?

– Точно так, ваше сиятельство.

– Ну, adieu, mon enfant ⁸, – обратился граф к даме, – и au revoir, monsieur N – ов ⁹.

Граф и его спутник простились, сели на своих коней и уехали.

Наблюдавший всю эту любопытную сцену офицер заметил, что Марья Степановна различила разницу посланного ей графом «adieu» от адресованного Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этим не смущалась; что касается самого Ивана Павловича, то он при отъезде гостей со двора выстроился у окна и смотрел

⁸ прощайте, мое дитя (франц.).

⁹ до свидания, господин N – ов (франц.).

совсем победителем, а завитки его жестких, как сталь, волос казались еще сильнее наэлектризованными и топорщились кверху.

«Черт меня знает, на какое я налетел происшествие», – думал офицер и ощущал сильное желание как можно скорее расстаться с графом.

Глава шестая

То же самое, в свою очередь, испытывал и Канкрин. И ему, разумеется, не было теперь удовольствия ехать с глазу на глаз вдвоем с малознакомым щегольским офицером, который видел его в смешном положении.

Как только они выехали за Новую Деревню, на лужайку к Лесному, граф говорит:

– Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицер понял, что тот хочет от него отделаться, и сам этому случаю обрадовался.

– Я, – говорит, – хотел бы заехать к одному товарищу здесь, в Старой Деревне.

– Что же, и прекрасно, вы не стесняйтесь. А я поеду на Каменный навестить графа Панина.

Им дальше было не по дороге.

Граф остановил коня и крепко, дружески пожал офицеру руку.

Тот ощутил в этом пожатии целую скромную просьбу и в молчаливом поклоне умел выразить готовность ее исполнить.

– Спасибо, – отвечал Канкрин, и они расстались.

Граф, однако, обманул своего молодого друга – он не поехал к Панину, а возвратился домой и прошел

к супруге. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) в это время принимала у себя какого-то иностранца-пианиста, которого привез ей напоказ частый ее гость, известный в свое время откупщик Жадовский.

Графиня и Жадовский сидели и слушали артиста, который с величайшим старанием показывал им свое искусство в игре на фортепиано.

Граф даже не вошел в комнату, а только постоял в открытых дверях, держась обеими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня с Жадовским похлопали польщенному артисту, Канкрин, махнув рукою, произнес бесцеремонно «*miserable Klumperei*»¹⁰, и застучал обоими галошами по направлению к своему темному кабинету.

Здесь он надел на лоб козырек от фуражки, служивший ему вместо тафтяного зонтика, и сел за работу перед большим подсвечником, в котором горели в ряд шесть свечей под темным абажуром.

На половине «кавалер-дамы» Екатерины Захаровны (так величал ее покойный граф) долго еще оставались откупщик и артист и раздавалась «*miserable Klumperei*», а граф все сидел и, может быть, обдумывал один из своих финансовых планов, а может быть просто дремал после прогулки на лошади. Но

¹⁰ жалкое брэнчанье (*франц. и нем.*).

только возвратившийся домой спутник графа видел с своего балкона силуэт Канкрина на марли заставок очень долго, а утром рано опять уже слышалась его скрипка. Это значило, что Канкрин встал, умылся и, вместо утренней молитвы, играет в своей темной уборной.

Значит, его настроение находится в полном порядке.

Глава седьмая

На другой день, при докладе, Канкрин обратился к директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросил: есть ли у него канцелярский чиновник по фамилии N—ов?

Княжевич этого, наверно, и сам не знал, но отвечал, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у эзекутора, — оказалось, что действительно есть чиновник N—ов.

— А давно ли он служит и где воспитывался?

Отвечают, что служит уже около пяти лет (совершенно верно, как говорил сам Иван Павлович). А происходит он из небогатых курских дворян, мать его была в Судже акушеркою, а он обучался на средства какого-то благодетеля в курской гимназии и окончил курс.

Граф это выслушал и говорит:

— Я его видел. В курской гимназии хорошо воспитывают. У нас образованных молодых людей немного еще: нельзя ли нам его как-нибудь по службе поощрить?

А Александр Максимович Княжевич был иногда упрям и с странностями; он отвечал:

— У меня нет никаких вакансий.

Только тут же случился директор другого департамента, который был ловчее; этот и вызвался:

– У меня, – говорит, – ваше сиятельство, в одном отделении есть место помощника столоначальника, и мне образованный, скромный молодой человек очень нужен.

Канкрин поблагодарил этого директора, и место Ивану Павловичу тотчас дали.

Как он был рад – уж это можно представить, но только на другой день, по подписании приказа, директор призвал Ивана Павловича к себе и говорит:

– Есть ли у вас вицмундир?

Иван Павлович отвечает:

– Никак нет, ваше превосходительство: я занимал до сих пор неклассную должность и вицмундира себе не шил, да и сшить не за что.

– Ну теперь, – отвечает директор, – вы повышены, и на классной должности вам вицмундир необходим. Я назначу вам из канцелярских сумм полтора ста рублей пособия, – извольте их получить и немедленно же закажите себе хороший вицмундир. Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. Он сам англичанин и всем англичанам работает. Его фраки очень солидно сидят, что для формы идет. Можете ему сказать, что я вас прислал: он и мне тоже работает. – А когда будете одеты, прошу ко мне явиться.

Дос сшил Ивану Павловичу такую вицмундирную пару, что тот сразу получил вид по крайней мере молодого сенатора.

– Чудесно сшито, – похвалил директор. – Теперь извольте же завтра представиться в этом вицмундире графу и поблагодарить его, так как вы вашим повышением обязаны непосредственному вниманию его сиятельства к вашим способностям и воспитанию.

«Эх, ты, черт возьми, какая загвоздка!» – подумал Иван Павлович.

Он и сам чувствовал в себе большую потребность благодарить графа, но, при воспоминании об обстоятельствах, которые предшествовали этому начальственному вниманию, мысли молодого человека путались. Ивану Павловичу казалось и смешно и даже как будто дерзко напоминать о себе графу предъявлением ему своей интересной самоличности. Иван Павлович думал так, что если он не пойдет благодарить, то это будет лучше: граф наверно не сочтет этого за непочтительность, а, напротив, похвалит его скромность; но директор понимал дело иначе и настоял, чтобы Иван Павлович непременно пошел представляться и благодарить.

Делать нечего, надо было повиноваться.

Глава восьмая

В нарочитый день, когда Канкрин принимал чиновников своего ведомства, стал перед ним в числе представлявшихся и Иван Павлович.

Только этот застенчивый человек, – сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, – поместился ниже всех, в самом конце шеренги представлявшихся чинов. Этим Иван Павлович оказал скромность перед другими, более сановными лицами, а себе предуготовил ту выгоду, что, оставаясь последним, он мог принести свою благодарность министру наедине.

Действительно, так и пришлось: Канкрин отпустил по очереди всех представлявшихся, а потом подошел к последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему в лицо, протянул руку, чтобы принять прошение.

Иван Павлович поклонился и молвил:

– Я, ваше сиятельство, не с прошением.

Канкрин вскинул на него глаза и проговорил:

– Что же вам угодно?

– Я являюсь, по приказанию директора, чтобы благодарить ваше сиятельство.

– За что?

– Я получил место...

– Прекрасно... я очень рад... Значит, вы его заслужили.

– Господин директор мне объявил, что вы сами изволили оказать мне в этом помощь.

– Очень может быть: вы мне помогали, а я вам помог. Это так и следовало. Желаю вам счастливо подвигаться вперед.

Граф поклонился и ушел, а директор призвал к себе в кабинет Ивана Павловича и расспросил его, что с ним говорил министр при представлении.

Иван Павлович отвечал:

– Граф изволили быть со мною очень милостивы и пожелали мне «счастливо подвигаться вперед».

Директор сделал жест и говорит:

– Это прекрасно, – вы можете считать себя устроенным: граф очень проницателен, и он не ошибся отметить в вас способного молодого человека, которому стоило только сделать первый шаг. Этот шаг теперь вами и сделан, а дальнейшее зависит не от одних ваших стараний, но также и от сообразительности, – присядьте.

Иван Павлович поклонился.

– Присядьте, присядьте, – повторил директор, показывая ему на стул.

Тот сел.

Глава девятая

– Финансовая служба, – заговорил директор, – это не то что какая-нибудь другая служба. Она имеет свои особенности. Здесь идет дело не о юридических фантазиях, а о хозяйстве, – о всем, так сказать, достоянии России. Вот почему люди, которые допускаются к финансовым должностям, облачаются большим доверием начальства, и потому они должны быть ему крепки... Они должны, так сказать, представлять начальству в самих себе прочное ручательство, что, кроме естественно в каждом честном человеке предполагаемого сознания собственного достоинства и священного долга, они скрепили себя другими узами, которые в своем роде тоже равны присяге, потому что они произносятся перед алтарем и начертываются в сердце...

Директор был немножко поэт, но Иван Павлович в ту же минуту умел перелагать его оду на обыкновенный прозаический язык.

– Я говорю о том, – сказал директор, – что в финансовом ведомстве довольно трудно полагаться на холостых людей. Холостые люди – они, как мотыльки или как перелетные птички, всегда готовы порхать с цветка на цветок, с ветки на ветку. Посидел, вспорх-

нул – и нет его, и ищи где знаешь. В военной службе это, например, даже принято, но по финансовой службе это невозможно. Настоящий финансист, если он желает внушать к себе полное доверие, непременно должен иметь дорогих и близких его сердцу существ... Понимаете, чтобы ему было к кому чувствовать привязанность и было чем и для кого дорожить собою.

Директор чувствовал, что говорит вздор, и спешил окончить.

– Я разумею то, – заключил он, – что финансист непременно должен быть женат и иметь семейство. Да, да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветреное семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансист, если он желает представлять собою надежные за себя ручательства, непременно должен быть женат. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, которого я не назову вам, раз прямо высказало мне свою тайную задушевную мысль, что, по его мнению, ответственные должности по финансовому ведомству предпочтительно надлежит доверять людям женатым. И мы этого держимся, если не совсем без отступлений, то по возможности мы женатым даем преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляют как следует. И я хотел бы сказать, что это прекрасные правила, разрабо-

танные практикой и освященные временем. И для того, кто имеет благородное честолюбие и кто способен никогда не упускать из виду сделать себе быструю и хорошую карьеру, – я надеюсь, что я не говорю ничего необычайного и нового. Кто религиозен и кто уважает заповедь Божию, тот должен знать, что «не благо быть человеку одному». Этого положения обойти нельзя, ибо оно вечно, ибо это... так...

Директор поднялся с своего кресла, вознес вверх правую руку с двумя выпрямленными пальцами и закончил:

– Так сказал о человеке сам Бог!

С этим сановник вручил свои два пальца Ивану Павловичу и отпустил его со словами:

– И я так вам советую и желаю вам счастья и успехов. Ваш столоначальник почти такой же, как вы, молодой человек с прекрасным образованием и сердцем. Вам с ним будет приятно. В нем много самолюбия, и он на своем нынешнем посту долго не засидится. Я не люблю оставлять без поощрения людей способных и меня понимающих. Томить людей не следует, и никого из моих подчиненных не томить – это мое правило.

Они поклонились друг другу самым пристойным и самым выразительным манером.

Глава десятая

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дело его имело надлежащий вид, он подал своему директору записку о разрешении ему вступить в законный брак с Марьей Степановной.

Граф Канкрин хотя с неудовольствием, но все-таки не отказал в просьбе Марьи Степановны и был у нее посаженным отцом.

Иван Павлович для этого случая обнаружил всю тонкость своего практического ума: он устроил свадьбу «по-английски» – тихую, в маленькой домово́й церкви, состоявшей на особых правах.

Министр ни малейшим образом не имел причины пожалеть о том, что он уступил *последней* просьбе своей милой знакомой, которой уже ранее сказал свое «adieu».

Она ему, впрочем, напомнила об этом «adieu», когда, по приезде из церкви, осталась на короткое мгновение вдвоем с глазу на глаз с графом.

– «Adieu», – сказала она, – может говорить женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили – это на вас не похоже.

Граф извинился рассеянностью.

– Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самые лучшие философские правила.

– Например, какие?

– Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учини, и я помню.

Граф засмеялся – как будто этим ему было приведено на память что-то очень смешное и в то же время приятное.

– А что, видите, – вы мне, верно, не льстили, находя у меня «философскую складку».

– О, я вам нимало не льстил! Вы не только имеете «философскую складку», но вы совсем великий практический философ.

– И что же, должна ли я теперь сказать вам «adieu»?

– Mon ange ¹¹, – вы можете по-прежнему сказать au revoir.

И он взял и поцеловал ее руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему в ответ:

– По-прежнему.

¹¹ Мой ангел (франц.).

Глава одиннадцатая

Иван Павлович немедленно же получил место столначальника и был очень счастлив в своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и нетрудно, потому что она этого молодца в самом деле любила. Из ее приглашения графа к «прежнему» для супружеского счастья Ивана Павловича не выходило ничего угрожающего. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться в кокетстве по одной любви к этому искусству. Нет, Марья Степановна была умная женщина, и именно русская умная женщина, с практическим закалом. Она широко обзревала раскрывающееся перед нею поле жизни и умела отличать кажущееся от существенного. В самом ее красивом обличье тонкие черты новогреческого типа, если всматриваться в них, напоминали одновременно старый византизм и славянскую смышленность. В ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдове Мамелефе Тимофеевне», перед которою в раздумье тыкали посошками в землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабе им негоже над бабьею головою тешиться. Весь разговор, веденный Марьей Степановной с целью упомянуть про

«прежнее», был умный прием не для возобновления прежних «пустяков», из которых Марья Степановна выбралась совсем не затем, чтобы к ним возвращаться, «как пес на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорум. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стоит честной жены пастуха» – и она вышла замуж недаром, не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотела. Уважала или нет она своего Ивана Павловича, – это иной вопрос: умные, практические женщины редко кого уважают, да им это и не нужно; но она его *любила*, и этого с нее было довольно, чтобы сделать для него привязанность к ней легкою, приятною и ничем не возмутимую.

Как большинство женщин подобного практического склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что он молодец собою, а притом расторопен, сметлив и ей послушен. Он ей во всем станет верить: она его ни в чем не обманет – именно потому, что он ей очень нравится, и они вдвоем заживут в мире и согласии без всякого уважения, и возьмут с жизни на свой бенефис прехорошую срывку.

А о том, что о них будут говорить, что о них станут думать, – этому вздору она знала настоящую цену.

«Будь бела как снег и чиста как лед, и все равно людская клевета тебя очернит».

Играя с графом на «прежних» струнах, она знала, что аккорд зазвучит так, как она захочет.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, был ей известен: она знала, что в нем есть некоторая теплота, но не осталось уже ни малейшей доли опасного пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ее целей. В ней именно и удалось их все-таки пока еще совсем неустроенное и несогретое домашнее гнездышко. Граф был нужен, – и Иван Павлович знал это ничуть не менее, чем его супруга. А потому, когда Канкрин, считая себя совершенно уединенным с Марьей Степановной, целовал ее пальчик в знак восстановления чего-то «прежнего», – Иван Павлович, стоя за дверью с шампанской бутылкою, придерживал подрезанную пробку, чтобы она не хлопнула ранее, чем разговор будет кончен.

Он явился с вином как раз вовремя и кстати, когда все нужное уже было сказано.

Глава двенадцатая

Иван Павлович, при всей его малозначительности для такого несомненно большого человека, как граф Канкрин, сделался тем, что был какой-то сомнительный дух, вызванный из какой-то бездны словом очень неосторожного аскета.

Выскочил Иван Павлович перед графом из-под уборного стола неожиданно, как гороховый росток из пупа индийского дервиша, которого описывает болтливый француз Жаколио, а убрать его назад с глаз долой сделалось трудно.

Это произошло, во-первых, от изящной манеры графа никогда не оставлять без внимания тех дам, с которыми он был однажды ласков, и во-вторых – тут оказались на античных ручках Марьи Степановны (которым могла позавидовать Лавальер) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимофеевны.

Граф был поражен, как начальник колена Иуды, от собственных чресл своих: он не мог отбиться от предупредительного желания угодить ему в лице Ивана Павловича. Этот молодой счастливец в начале следующего года был представлен уже в начальники отделения. Канкрин его утвердил – хотя, впрочем, осведомился:

– Что же, разве он очень способен?

Ему отвечали:

– О да-с; он очень способен.

Министр не имел никаких причин оспаривать заключение ближайшего начальника, и Иван Павлович стал начальником отделения.

Это великий уряд в департаментской иерархии. С этого уряда начинается уже приятная положительность не только в департаменте, но и в мире. Начальника отделения уже не вышвыривают из службы, как мелкую сошку, а с ним церемонятся и даже в случае обнаружения за ним каких-нибудь больших грехов – его все-таки спускают благовидно. Начальник отделения получает позицию – он уже может пробираться в члены благотворительных обществ, а оттуда его начинают «проводить в дома». И положение его все лепится глаже и выше.

Для жены чиновника достижение мужем места начальника отделения было еще важнее. Теперь это значительно изменилось, потому что иерархия вообще расслабела и потеряла престиж, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Все жены лиц низшего положения иначе не назывались, как «наши чиновницы», ниже которых были одни курьерши, а с жен начальников отделений уже начинались «наши министерские дамы». Эти уже не ходили на Пасху в при-

ходский храм, а приезжали в «свою министерскую церковь», где их с предупредительностью провожал дежурный чиновник и подавал унесенное из канцелярии мужнино кресло; дьякон подкаждал им грациозным движением щегольски рокочущего кадила с стираксой, а батюшка говорил: «цветите и благоухайте!»

После пасхального служения у начальниц отделения уже нередко целовали ручки даже сами директоры, а взамен того мужа начальниц поздравляли лично директорш...

Это уже был «министерский круг», соприкасающийся с «кабинетом», а не канцелярия, которая граничит с курьерской.

Иван Павлович с Марьей Степановной преодолели эти ступени, но они не думали на них остановиться. Да, по правде сказать, это им было и невозможно, ибо, несмотря на то, что официальная часть положения была теперь в порядке, но в неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «*сi-devant*»¹² и немножечко от нее сторонились.

Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы образовать свой круг и заставить отдать справедливость своим способностям, которые в самом деле были достойны внимания.

Марья Степановна кое-что придумала. Она на-

¹² «бывшей» (франц.).

шла повод видаться со Скобелевым, который когда-то знал ее ничем не знаменитого отца. Старый комендант тоже был не прочь приволокнуться и обошелся приветливо с милой дамой, а она заинтересовалась его рассказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературе и увидела, что в России ничего нет легче, как это. Скобелев заходил к ней пить чай и иногда излагал такие рассказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкус к простонародности – там столько сердца, ума и юмора...

Скобелев находил, что все это есть и в самой в ней.

В самом деле: разве находка у нее нынешнего мужа в некотором роде не самая простонародная сцена? Разве это не отдает «Москалем Чаривником»?.. Как хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодование к выходкам против Белинского. Скобелев ей открыл более, и она добилась случая видеть раз знаменитого критика. Потом у ней пил чай и что-то читал Николай Полевой, и кто-то с кем-то спорил о славянофилах и о необычайном уме молодого Хомякова.

Это произвело свое действие: «министерские дамы» изменили negliжированную презрительность на сосредоточенную сухость, в которой одновременно ощущались и надмение и зависть.

С таким недоброжелательством со стороны искренних уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умного посева.

Глава тринадцатая

Марья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела ее лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чем-нибудь, а не о ком-нибудь, – так, однако, чтобы это было для нас полезно. Она усвоила две-три мысли Белинского, знала какое-то непримиримое положение Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. Словом – впала, что называется, в сферу высших вопросов.

Это дало ей апломб и заставило многих кивать головами: «чем-то это кончится?»

Иван Павлович уже был сделан вице-директором. Полагали, что это по жене, у которой такие прекрасные, хотя, быть может, и не безопасные знакомства.

Только она уже очень рисковала. Граф Канкрин был человек довольно свободных взглядов, однако сказывали, что и он, подписывая назначение Ивана Павловича вице-директором, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила с невероятною преданностью: как нарочно, случались такие дела, что надо было командировать туда и сюда лиц способных и достойных, и всякий раз министру пред-

ставляли для таких дел Ивана Павловича.

Это было очень неприятно Канкрину, и он одно представление отложил в сторону, – сделать было неудобно; но через несколько дней граф был на одном музыкально-литературном «soirée intime»¹³, куда гости попадали не иначе, как сквозь фильтр, – и вдруг там, в одном укромном уголке, граф встретил скромную женскую фигуру, которая ему сделала глубокий поклон с оттенком подчиненности и иронии и произнесла только одно слово:

– Excellence!¹⁴

Граф не ожидал ее здесь встретить и, немножко взволновавшись, взял ее за руку и сказал:

– Ах, мой друг, – ведь уж для него много сделано – что же такое нужно, чтобы я еще сделал?

– Только не мешайте.

Граф улыбнулся и отвечал:

– Это напоминает комедию: «Одно слово министру». – Ну, хорошо: я подпишу.

И он подписал Ивану Павловичу новое повышение.

Сила ее над графом была доказана. Пусть он и морщится, когда ему представляют Ивана Павловича, но в общем сочетании различных комбинаций все-таки приятно. Вскоре к протекции Марьи Степановны

¹³ интимный вечер (франц.).

¹⁴ Ваше сиятельство! (франц.)

стали прибегать сторонние люди, имевшие в графе надобность по делам, и, престранная вещь, – тоже выходило успешно...

Было ли это случайное совпадение обстоятельств или нет, – в этом трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, в котором мешали всё, упоминая что-то и про Иннокентия и про Хомякова, – и вдруг также что-то такое про взятку...

Словом, являлось острое положение, в котором надо – как говорят игроки – «квит или двойной куш».

Марья Степановна повела на двойной куш, и об Иване Павловиче в самую неожиданную минуту последовало новое представление графу к повышению.

Граф вскипел.

– Что такое!.. куда его еще!.. И притом я что-то слышал...

Представлявший отлично знал, с кем имеет дело, и хорошо нашелся.

– Да, – отвечал он, – я знаю, что говорят: это очень жалко, но это не его вина, – а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

– Что такое? Какие хомяковские идеи? Это что-то про сорок мучеников... Я в этом решительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчас же где-то и как-то опять является

«она, прелестной простоты полна», и даже без «excellence», а с одним поклоном, и дает делу желанное направление.

Увидав ее в высоком круге, граф захотел во что бы то ни стало раз и навсегда избавиться и от нее и от ее мужа самым решительным приемом.

Он сам с нею остановился, сам взял ее за руку и сказал:

– Я все, все сделаю, но другим образом.

Марья Степановна отвечала:

– Я всегда верю вашему рыцарскому слову.

Глава четырнадцатая

Дело о карьере Ивана Павловича приходилось завершать— только бы не быть более с ним вместе.

Граф сделал комбинацию. Другое лицо большого положения – граф Панин имел надобность в услуге министра финансов.

Канкрин ее сделал скоро и охотно, а чрез некоторое время явился просить за подчиненного, которого заслуг он не в силах совместить с ограниченностию персонала по своему ведомству.

Граф Панин пожевал и отвечал, что «совмещать» многое очень трудно, и свободнее других это может разве Перовский, у которого не перечесть сколько хороших мест, находящихся в его власти.

Перовский это и сделал, а Канкрин, подписывая бумагу о согласии на перевод Ивана Павловича в другое ведомство, совсем неожиданно для предстоявших перекрестился по-русски, как сам Хомяков, и сказал:

– Это, как там говорят, «нынче отпускаеши». Наконец я не буду опасаться, что мне представят, чтобы я его утвердил начальником самому себе.

Так все были введены в обман и думали, будто, представляя Ивана Павловича, делали графу неопи-санное удовольствие, тогда как это было совсем на-

против.

Но собственно «отпущения» графу все-таки не было. В Петербурге поняли, что в услужливости ему в лице Ивана Павловича было много ошибочного, но в провинции, куда этот карьерист поехал большим лицом и где первенствующее положение Марье Степановне уже принадлежало по праву, они были встречены иначе. В оседавшее тесто словно подпустили свежих дрожжей, и оно пошло подниматься на опаре.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положению и совмещала теперь это с выгодами нового положения: она стояла выше того, чтобы ее подозревать в искательности: она говорила словами Белинского «о человеке нравственно-развитом», следила за Хомяковым, беседовала с Иннокентием и... брала самые отчаянные взятки даже по таким ведомствам, которые были чужды непосредственному влиянию ее мужа. Все думали, что в ее лице заключается всеобщее надежное «совместительство».

С кем она делилась тем, что взимала, – это была ее тайна, но граф напрасно думал, будто его решительная мера отстранения совместителей от непосредственного участия в ведомстве освободила его на самом деле от их влияния.

– Совместительство, как лесть, может являться в разнообразных формах, и где не промчится зверем

рыскачим, там проползет змеею или перепорхнет легкой пташечкой. Надо свет переделать или, другими словами, приучить людей, чтобы они в каждом деле старались служить делу, а не лицам. Вот это поистине прекрасная задача, и добром вспомнется имя того, кто ей с умением служит.

Так закончил свой рассказ правдивый и умный человек, со слов которого мною теперь передана вышеизложенная историйка «о совместителе».

Впервые напечатано – журнал «Новь», 1884.